

ТРАВОЙ ПОРОСЛО

ЕЛЕНА ДЭМИ



Елена Дэми

Травой поросло

«Автор»

2026

Дэми Е.

Травой поросло / Е. Дэми — «Автор», 2026

Старость пришла к Ие в семнадцать лет. Не морщиной, а тихим желанием: пусть больше ничего не меняется. 3026 год. Люди срослись с кодом, но сердце болит так же, как тысячу лет назад. Город дышит: кварталы растворяются в свете и вырастают заново. Язык меняется так быстро, что бабушкам нужен переводчик, чтобы понять внуков. А тем, кто устал, закон разрешает якорь — остановить свой мир в одном дне. Навсегда. После смерти бабушки Ия подаёт заявку. Закон даёт тридцать дней тишины. Прабабка Сати — ей сто тридцать один год, и она моложе всех, кого знает Ия, — не спорит. Она просит только об одном: перевести самый старый файл семейного архива. Ему тысяча лет. В нём голос девяностолетнего человека, который боялся компьютера — и всё-таки сел рядом. Тридцать дней. Тысяча лет. Одна яблоня у калитки. Философская фантастика о том, когда на самом деле приходит старость. Для тех, кто хоть раз хотел, чтобы мир остановился.

© Дэми Е., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Калитка	5
Сати	7
Банка из-под чая	9
Конец ознакомительного фрагмента.	10

Травой поросло

Калитка

СТАРОСТЬ, -и, жс. 1. (устар.) Период жизни, исчисляемый количеством прожитых лет.
2. Состояние человека, пожелавшего, чтобы мир перестал меняться. Может наступить в любом возрасте. Обратимо.

Толковый словарь Гильдии толмачей. Издание тридцать первого века

Старость пришла к Ие в семнадцать лет.

Пришла не морщиной и не болью в колене. Пришла желанием — тихим, тёплым, почти ласковым: пусть больше ничего не меняется. Пусть всё останется как есть. Пусть не трогают, не тянут, не цепляют, не зовут.

Это случилось в четверг, без четверти шесть вечера, у калитки бабушкиного дома.

Калитка была настоящая — деревянная, рассохшаяся, с железной щеколдой, которая заедала, если не приподнять её мизинцем. Таких калиток в городе почти не осталось. Таких домов тоже. Таких бабушек — больше ни одной.

Бабушку Тamar проводили в апреле. Ей было девяносто пять, и у неё было лицо, которое умело слушать: морщины лежали на нём так, будто их нарочно расставили вокруг глаз — чтобы взгляд не расплескался. Ия приходила к ней с самого детства, и всё детство за калиткой было одинаковым. Скрипучее крыльцо. Запах сушёной мяты. Старая яблоня, кривая, в серебряном лишайнике, — каждую осень она роняла в траву жёлтые яблоки, и звук был такой, будто кто-то негромко стучит в дверь и не уходит.

В сентябре, в день равноденствия, квартал должен был выдохнуть.

Город дышал — так это называли. Раз в сезон какой-нибудь квартал выдыхал себя: дома складывались, как бумажные фонарики, улицы сворачивались в свет, а к вечеру на их месте вдыхалось новое — другие стены, другие лестницы, другие окна, в которых по-новому стояло солнце. Город делал это уже четыреста лет, и никто не плакал. Старое не пропадало. Каждый выдохнутый квартал оставался в слое — точная копия, до последней трещинки на крыльце. Можно было прийти туда в любую минуту, пройтись, постоять, потрогать.

«Ничего не исчезает, — говорили все. — Всё в слое».

Ия знала разницу. В слое у яблока был вкус. У него не было тяжести.

Она провела пальцем по шву — тонкой светлой линии от виска за ухо. Шов был у неё с трёх лет, как у всех: там живая ткань переходила в живой код, и где кончалось одно и начиналось другое, не сказал бы уже никакой врач. Через шов Ия видела слой, слышала город, читала, говорила, переводила. Шов был частью её, как голос. И шов умел слушать — не хуже бабушки.

Поэтому, когда она подумала (не словами даже, а всем телом, как думают о холоде): «Пусть всё остановится», — шов осторожно спросил: «Хотите оформить якорь?»

Якорю было двести лет. Его придумали из милосердия. Человек выбирал день — любой, свой, — и слой застыл на этом дне. Мир шёл дальше, а для заякоренного оставался прежним: те же улицы, те же слова, та же музыка, тот же свет. Город мог выдохнуть хоть десять раз — заякоренный видел свой квартал таким, каким тот был в выбранный вечер. Язык мог уплыть на два поколения вперёд — заякоренный слышал речь своего дня. Даже люди, приходившие к нему, являлись ему такими, какими были тогда: с прежними лицами, в прежних куртках.

Якорились старые — те, кому перевалило за сто пятьдесят и кто устал учиться. Якорились после большого горя. В последние годы стали якориться и молодые; об этом спорили в лентах, но вяло, как спорят о погоде.

Закон о якорях был короткий и добрый. Якорь — право каждого. Из якоря можно выйти в любую минуту: достаточно сказать слово. Между заявкой и якорем должно пройти тридцать дней тишины. И о своём решении нужно сказать семье.

Выходили из якоря редко. Об этом закон молчал.

— Да, — сказала Ия вслух. — Оформить.

«Выберите точку».

Она выбрала двадцать второе сентября, двадцать три пятьдесят девять. Последнюю минуту перед выдохом. Квартал, дом, яблоня, калитка со щеколдой — всё это останется с ней навсегда, именно таким. Она будет приходить сюда каждый вечер, и мята будет пахнуть, и яблоки будут стучать.

«Принято. Тридцать дней».

Под веками у неё засветился маленький счётчик. Ия смотрела на него и чувствовала то, чего не чувствовала с апреля: покой.

Покой был мягкий, как старый плед. В нём хотелось лежать и не шевелиться.

Мама слушала её через подстрочник.

Уже год через подстрочник... Не потому, что не любила, — потому что Ия говорила слишком быстро. Так говорили все её сверстники: слова у них за лето обрастали новыми смыслами, как ветки листьями, и маме было не угнаться. Мама не жаловалась. Она просто включила тонкие строки под глазами и читала дочь, как читают книгу на чужом языке — с переводом внизу страницы.

Ия видела, как бегут эти строки, пока она рассказывает про якорь. Видела, как мама дочитывает. Как молчит.

— Это твоё право, — сказала мама наконец.

И, помолчав ещё:

— Я бы, может, тоже. Иногда так хочется, чтоб не дёргали.

Она улыбнулась виновато, будто извинялась за что-то, чего Ия не поняла. Маме было пятьдесят пять.

— Скажи прабабке, — добавила она. — Закон велит семье.

Сати

Прабабке Сати был сто тридцать один год, и она была самым молодым человеком, которого знала Ия.

Она жила в башне, которая каждую весну меняла форму. В этом году башня была похожа на раковину — витую, перламутровую, с комнатами, закрученными вокруг пустой середины. Прошлой весной она была похожа на колос. Позапрошлой — на поставленную торчком флейту. Сати переезжала с этажа на этаж охотно, как переезжают птицы, — без мебели и без сожалений.

Когда Ия вошла, прабабка танцевала.

Музыка была осенняя, нынешняя — та, которую Ия ещё не успела полюбить, а Сати уже успела. В ней было что-то неправильное, кривоватое, будто ритм споткнулся и решил не вставать. Сати двигалась медленно, но точно: её тело знало, где споткнётся музыка, раньше, чем музыка спотыкалась.

Шов у неё был перешит четыре раза. Каждый раз — больно. Каждый раз — заново учиться видеть, слышать, говорить: новый код, новые слои, новый город поверх старого. Большинство людей её лет давно не перешивались. Им хватало толмачей.

Толмачей Сати звала костылями. Беззлобно.

— Хорошая вещь костыль, — говорила она. — Пока нога не срослась.

Сама она за сто тридцать один год не взяла ни одного толмача. Каждое десятилетие язык уплывал — она плыла следом. Каждый сезон в городе появлялись новые слова — она узнавала их раньше Ии. Однажды Ия спросила, зачем ей это: можно ведь просто включить подстрочник, как мама.

— Подстрочник переводит слова, — ответила Сати. — А мне нужно, чтобы меня понимали правнуки. Это разные вещи.

Теперь Ия стояла в дверях раковины и не знала, с чего начать.

Сати выключила музыку сама. Посмотрела. Сто тридцать один год — долгий срок; за него учишься читать лица быстрее, чем подстрочник читает слова.

— Говори.

Ия сказала.

Про калитку. Про равноденствие. Про якорь. Про точку — двадцать три пятьдесят девять. Про тридцать дней. Она ждала спора, слёз, долгих разговоров о том, как она молода и сколько всего впереди. Она заготовила ответы. Она даже знала, каким голосом будет их говорить.

Сати долго молчала.

Потом сказала:

— Хорошо.

И Ие стало страшно — сильнее, чем если бы прабабка закричала.

— Тридцать дней — твои, — продолжала Сати. — Закон мудрее, чем о нём думают. Но один из них дай мне. Можно не подряд. Можно по кусочку.

— Зачем?

Сати подошла к стене раковины, приложила ладонь — стена раскрылась нишей, в нише засветился архив. Семейный. Ия видела его однажды, в детстве: тысячи файлов, слоями, как годовые кольца на срезе дерева.

— Здесь есть один файл, — сказала Сати. — Самый старый. Ему тысяча двадцать шесть лет.

— Знаю. Дед-что-то-там. Бабушка рассказывала.

— Его переводят в каждом поколении. Заново. Иначе он умрёт: язык уплывает, старые переводы перестают звучать. Последний раз я переводила его полвека назад. Мой перевод

теперь скрипит — ты услышишь. В нём слова, которых ты не знаешь. Тамар хотела сделать новый. Не успела.

Она обернулась.

— Ты толмач, Ия. Ученица, но толмач. Переведи его для своих. Для тех, кто будет после тебя.

— Но я же... — Ия запнулась. — Я же якорюсь. После меня — это уже не мои.

— Поэтому и прошу. Ты последняя, кто сейчас может. Через тридцать дней твой язык остановится. Ты не сможешь перевести ничего — ни для кого.

Она сказала это просто, без нажима. И ещё проще добавила:

— Переведи. А потом якорись, если захочешь. Я тебе слова поперёк не скажу.

Ия хотела отказаться. Потом подумала, что отказ будет похож на страх, а она не боялась. Она была спокойна. У неё был плед.

— Ладно, — сказала она. — Один день. По кусочку.

Банка из-под чая

Двухтысячный год. За тысячу двадцать шесть лет до этого

В маленьком городе, от которого потом не останется даже названия, восьмидесятидевятiletний человек считал деньги в жестяной банке из-под индийского чая.

На банке был нарисован слон. Слон был синий, с золотой попоной, и за много лет краска на его боку стёрлась от пальцев — там, где банку брали, чтобы открыть. Матвей Ильич открывал её часто. Чаше, чем нужно. Денег от этого не прибавлялось, но ему нравилось знать, что они есть.

Пенсия приходила раз в месяц, и почти вся уходила на таблетки. Таблетки были от сердца, от давления, от суставов — и ещё одни, чтобы таблетки от суставов не съели желудок. Остальное — на хлеб, на молоко, на свет. А то, что оставалось после остального, — в банку. По пятьдесят. По сто. Иногда монетами, по десять, и тогда банка звякала так громко, что он оглядывался на дверь, как мальчишка, которого застали с вареньем.

Копил он на компьютер.

Если бы кто-нибудь спросил его зачем, он бы не ответил. Сказал бы: «Да так». Сказал бы: «Посмотреть». Но никто не спрашивал, потому что никто не знал. Это была его тайна — первая за много лет. Тайна держит человека прямо, как колышек держит молодое деревце.

По воскресеньям дочь Вера возила его к внуку.

Внук Костя жил в новом районе, в квартире, где в дальней комнате всегда гудело. Там стоял компьютер — большой, бежевый, с выпуклым серым экраном, — и возле него всегда кто-нибудь сидел. Сам Костя — ночами, после работы. Его жена — по вечерам. А днём — правнучка Даша, девяти лет, которая умела на нём всё.

Матвей Ильич в комнату не входил. Он стоял в дверях.

Стоял так, как стоят на перроне, глядя в окна уходящего поезда: там, за стеклом, светло, там едут — не к тебе и не от тебя, а просто едут, туда, куда ты уже не успеешь. Даша оборачивалась и махала ему рукой. Он махал в ответ. Экран отражался в его очках двумя маленькими голубыми окошками.

— Деда, иди сюда, — звала Даша.

— Да я отсюда, — говорил он. — Отсюда видней.

Отсюда было не видней. Отсюда было не страшно.

За обедом он спросил у Кости, кем тот работает. Спрашивал уже в третий раз и в третий раз забывал: слово было новое, скользкое, как обмылок.

— Маркетологом, дед.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.